

СТАВРОГИН ДОСТОЕВСКОГО И КАРАЗИН М. ГОРЬКОГО

Рукописи главы «У Тихона» («Исповедь Ставрогина»), не включенной в текст романа «Бесы» при печатании его в журнале «Русский вестник» по настоянию М. Н. Каткова, хранились у А. Г. Достоевской и незадолго до ее смерти, в 1918 г., поступили от нее в Централархив. Первая редакция, а также незавершенный список этой главы были опубликованы в 1922 г.¹

Год спустя М. Горький написал рассказ «Карамора». Это исповедь Петра Каразина — революционера, ставшего провокатором. Если сопоставить этот рассказ с главой «У Тихона», можно обнаружить, как нам представляется, немало общего в Ставрогине и Каразине как литературно-психологических типах.

Следует сразу же отметить: проблема восприятия и интерпретации Горьким наследия Достоевского освещена в нашем литературоведении еще сравнительно скудно, хотя, по совершенно справедливому замечанию М. Я. Ермаковой, «в истории русской литературы вопрос об отношении М. Горького к Достоевскому как художнику и человеку является поистине феноменом исключительным, ибо трудно назвать другой подобный пример, когда один классик литературы так много, систематически и очень часто столь противоречиво говорил бы о другом классике, то восторгаясь им, то осуждая его творчество».²

В 40-х гг. о Горьком зачастую писали по преимуществу как о борце против реакционных идей автора «Бесов». В таком аспекте написаны и статьи Б. А. Бялика.³

Однако уже в 1959 г. была опубликована статья Ю. Юзовского «Спор Горького с Достоевским», в которой автор, сопоставляя роман Горького «Трое» с «Преступлением и наказанием»,

¹ См.: Документы по истории литературы и общественности. М., 1922, вып. 1. Ф. М. Достоевский, с. 3—40; Былое, 1922, № 18, с. 227—252 (см.: 12, 237—246).

² Ермакова М. Я. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века. Горький, 1973, с. 263.

³ См.: Бялик Б. А. 1) Борьба Горького-художника против реакционных идей Достоевского. — В кн.: Горьковские чтения. М., 1951, с. 418—419; 2) Достоевский и достоевщина в оценках Горького. — В кн.: Творчество Ф. М. Достоевского. М., 1959, с. 65—100. — Правда, в последней статье Б. А. Бялик счел нужным подчеркнуть, что «Горький высоко ценил искренность Достоевского», и подкрепить эту мысль ссылкой на письмо Горького к Иванову-Разумнику от 29 октября 1913 г. (с. 99).

счел нужным подчеркнуть и весьма важное сходство между героями этих романов — то, что и Раскольников, и Лунев, совершившие убийства, страдают от чувства своей разьединенности с людьми, а кроме того, что «им обоим, так же, как и их авторам, важен был не только психологический и даже моральный (безотносительно моральный) мотив, а его философская направленность, его перспектива».⁴

В 1967 г. вышла книга Л. Ф. Ершова «Русский советский роман», в которой он утверждает в связи с повестью «Трое», что Горький «учился у великого художника искусству проникновения в тайное тайных человека», высказывает мнение, что автор «Клима Самгина» не сумел бы создать своего героя, «если бы не опирался на огромный опыт аналитической школы Достоевского». Обобщающий вывод исследователя таков: «Хотя Горький жестоко и неуклонно боролся с „достоевщиной“ <...> нельзя сказать, что сам он остался в стороне от дороги, проложенной Достоевским».⁵

Эта мысль нашла свое дальнейшее развитие в статье А. С. Мясникова «Достоевский и Горький» и в уже упоминавшейся выше книге М. Я. Ермаковой. Мясников, подчеркнув, что «Горький отрицал не Достоевского в целом, а ту „социальную педагогику“ Достоевского, которая противостояла лучшим идеям самого писателя», призывает читателя «подумать и о том, что и в какой мере сближало Достоевского и Горького, попытаться выявить в художественном творчестве и публицистике Достоевского те животворные черты, которые помогали рождению нового художественного метода, противостояли заблуждениям самого Достоевского, заставляли Горького творчески подходить к великому наследию одного из самых трагических писателей XIX века».⁶

Ермакова же говорит прямо: «От Достоевского литература шла к Горькому».⁷ Следует заметить, что она первая предприняла попытку рассмотреть воздействие Достоевского на Горького на примере конкретных произведений последнего, в частности — рассказа «Карамора».⁸ «Почему М. Горький при решении столь большой философско-психологической темы обратился именно к образу провокатора Петра Каразина...? Конечно, это было сде-

⁴ Вопр. лит., 1959, № 5, с. 130.

⁵ Ершов Л. Ф. Русский советский роман. Л., 1967, с. 181.

⁶ См.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972, с. 546.

⁷ Ермакова М. Я. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века, с. 293.

⁸ Необходимо оговориться, что в связи с «Караморой» имя Достоевского всплывало и ранее, но только в ином плане. А. К. Воронский, например, еще в 1928 г. писал: «Неудачной вещью является „Карамора“. Рассказ возбуждает чувство недоумения и досады. Есть в нем много от построений Достоевского: „позвольте подлость сделать“, и непароком герой рассказа — провокатор — говорит, что он теперь хорошо чувствует Достоевского. И потом, нельзя так двойственно писать о провокаторах, нельзя, особенно у нас в России» (Воронский А. Литературно-критические статьи. М., 1963, с. 379). — Ошибочность суждения Воронского очевидна.

лано М. Горьким не случайно. Ведь для обнажения сущности вышеуказанной темы и проблемы художнику выгоднее взять, — как делал это и Достоевский, — факт исключительный, наиболее рельефный, в такой резко очерченной форме, где никаких светотеней, которые могут несколько „размыть“ контуры объекта». ⁹ И, наконец, В. И. Кулешов в своей книге «Жизнь и творчество Достоевского», изданной уже в 1979 г., очень верно заметил: «Когда Горький в своих произведениях касался старого мира, он широко использовал опыт Достоевского». ¹⁰ Попробуем же проследить, как в «Караморе» использован опыт Достоевского — автора «Бесов».

Первый эпиграф к «Караморе» Горький взял из слов рабочего Захара Михайлова, провокатора, представшего в 1917 г. перед следственной комиссией: ¹¹ «Вы знаете: я способен на подвиг. Ну, и вот также подлость, — порой так и тянет кому-нибудь какую-нибудь пакость сделать, — самому близкому». ¹²

Собственно говоря, ни Ставрогин, ни Каразин подвигов не совершают, хотя оба обладали бесстрашием и любили опасные моменты. Раздвоенность их в другом. «Жили во мне два человека, и один к другому не притерся. Вот и всё», — говорит Каразин. ¹³ «Я все так же, как и прежде всегда, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие», — так писал Ставрогин Дарье Шатовой незадолго до самоубийства (10, 514).

Следует сразу же оговориться, что все так называемые «добрые дела» Ставрогина, равно как и смелые поступки Каразина, совершались не столько из любви к людям, сколько для самоутверждения, для возвышения в собственных глазах. Кроме того, в обоих вечно жило сильнейшее желание первенствовать, а для этого необходимо общество. «В каждом человеке живут двое: один хочет знать только себя, а другого тянет к людям», — совершенно четко определяет свою раздвоенность Каразин, ¹⁴ и эти слова вполне приложимы и к Ставрогину. «Всякое чрезвычайно позорное, без меры унижительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, — пишет Ставрогин, — всегда возбуждало во мне, рядом с безмер-

⁹ Ермакова М. Я. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века, с. 294—295.

¹⁰ Кулешов В. И. Жизнь и творчество Достоевского. М., 1979, с. 203.

¹¹ В первые годы после Октябрьской революции в связи с раскрытием дел царской охранки всплыло немало имен провокаторов. Перед судом революционного народа предстали в разное время Михайлов, Окладский, Серебряков и другие. Каждый такой процесс воспринимался Горьким с глубоким волнением, обнажая перед ним разнообразные закоулки низких предательских душ, исследованию которых посвящено столько страниц у Достоевского, и поневоле заставляя взглянуть на своего предшественника по-новому, как на художника великой прозорливости.

¹² Горький М. Полн. собр. соч. М., 1973, т. 17, с. 366.

¹³ Там же, с. 367.

¹⁴ Там же, с. 372.

ным гневом, непомерное наслаждение <...> Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости» (11, 14).

Каразин же, став провокатором, тоже мог бы сказать о себе, что «тут рассудок мой бывал совершенно цел». Он так и пишет: «Разумом я сознавал, что делаю так называемое подлое дело, но это сознание не утверждалось соответствующим ему чувством самоосуждения, раскаяния или хотя бы страхом. Нет, ничего подобного я не испытывал, кроме любопытства...»; и далее: «Я первый открыл, что у человека нет сил протестовать против подлости в себе самом, да и не надо протестовать против нее: она — законное и действительное орудие взаимной борьбы».¹⁵ Такое философское обоснование Ставрогину еще было неизвестно, он вообще в отличие от Каразина почти не пытался оправдываться. В одном из вариантов списка А. Г. Достоевской главы «У Тихона» написано даже так: «При этом объявляю, что ни средою, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу» (12, 109). Но, как бы то ни было, и Ставрогин, и Каразин, чувствуя свою раздвоенность, порой наслаждались своими поступками молча, наедине с собой, а иногда их «тянуло к людям», и тогда Ставрогин рисовал в своем воображении, как весь мир (или хотя бы пока только Тихон) узнают о его поступке с Матрешей и поразятся; Каразин же откровенничал перед своим собутыльником, начальником охранного отделения Симоновым. «Цельный человек похож на вола — с ним скучно, — заметил Каразин и тут же добавил: — Я думаю, что цельность — результат самоограничения ради самозащиты».¹⁶

Перед тем как читать исповедь Ставрогина, Тихон процитировал ему отрывок из Апокалипсиса: «Сие, глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих» (11, 11). Эта евангельская мысль крайне важна для понимания как Ставрогина, так и Каразина. Оба они боялись «потеплеть», интуитивно чувствуя, что это принесет им гибель. Усталость души и скука — их постоянные спутники. Ставрогин, охотно признавая свое «звериное сладострастие», свое нередкое упоение «подлостью и низостью», замечает, однако: «Никогда это чувство не покоряло меня всего совершенно, а всегда оставалось сознание, самое полное (да на сознании-то все и основывалось!). И хотя овладевало мной до безрассудства, но никогда до забвения себя» (11, 15).

Столь же скучно было Каразину в среде революционной молодежи: «Девятнадцать лет жил я среди однообразно мыслящих людей, жил, так сказать, в атмосфере мысли одноцветной окраски.

¹⁵ Там же, с. 396—397.

¹⁶ Там же, с. 379.

Эта окраска не удовлетворяла меня, она казалась мне скучной, безрадостной, как осенний, непогожий день». ¹⁷ И вполне справедливо отозвался о Ставрогине Вяч. Полонский: «Он не революционер и никогда им не был. Если он и соприкасался с революцией, то „случайно“, как „праздник человек“, который ищет, куда избыть свою тоску». ¹⁸ Каразин с годами превратился в провокатора и притом остался столь холоден, как прежде: «Я всё ждал, что внутри меня вспыхнет протест. „заговорит совесть“, но совесть молчала». ¹⁹

Томясь от своей постоянной цепенящей холодности, желая испытать хоть какие-то горячие чувства, оба тоскуют по наивности. Караморе хочется видеть наивность и в культуре, и в революционной борьбе, и в любви — но он ее не видит; Ставрогин нашел наивность в Матреше, но, найдя, пережил лишь мгновение ее горячих объятий — и снова видит кругом одно смрадное болото. Но вот что показательно: пока Ставрогин был «не холоден и не горяч», он жил, и лишь когда перед ним встала перспектива размеренной, почти филистерской жизни с Дашей в швейцарском кантоне Ури, перспектива «тепленького», уныло однообразного существования — тут он не выдержал и вложил голову в петлю. ²⁰ Видимо, это мог предчувствовать Тихон, сказавший ему: «Вы не хотите быть только теплым» (11, 12).

Перед Каразиным подобной перспективы нет (есть другая — смертная казнь, но и это ему неизвестно).

Ставрогин экспериментировал над собой всю сознательную жизнь, ²¹ Каразин начал после истории с Поповым. Но, экспериментируя, оба были предельно рационалистичны. За несколько минут до растления Матрешы, пишет Ставрогин, «я вынул часы и посмотрел, который час, было два. У меня начинало биться сердце. Но тут я вдруг опять спросил себя: могу ли я остановить? И тотчас ответил себе, что могу» (11, 16). А далее: «...я встал и начал к ней подкрадываться». Несмотря на свое «звериное сладострастие», действует он продуманно, расчетливо. Матреша для него не столько женщина, не столько даже объект похоти, сколько подопытный объект. Нет, он не насильник («насилие — мерзость», — говорил еще Свидригайлов), ему необходимо возбудить эту девочку и склонить ее к добровольному сближению («лицо ее выражало совершенное восхищение»). Но вот цель достигнута.

¹⁷ Там же, с. 397.

¹⁸ Спор о Бакуinine и Достоевском. Л., 1926, с. 193.

¹⁹ Горький М. Полн. собр. соч., т. 17, с. 397.

²⁰ А. С. Долинин в статье «Исповедь Ставрогина» заметил, что эта форма самоубийства «может быть художественно оправдана только в связи с „Исповедью“: суровое возмездие за преступление с „отроковицей“ называется и в одинаковости орудия смерти и обстановки — тоже чуланчик и петля и для насильника» (Литературная мысль, Пг., 1922, № 1, с. 149).

²¹ «Необъятная сила <...> с радостью бросающаяся — во время исканий и странствий — в чудовищные уклонения и эксперименты...», — такую запись о Ставрогине сделал Достоевский 1 января 1870 г. (см.: 9, 128).

«Когда всё кончилось, она была смущена. Я не пробовал ее разуверять и уже не ласкал ее. Она глядела на меня, робко улыбаясь. Лицо ее мне показалось глупым». Как видим, даже наслаждение ласками юного существа для Ставрогина ничто по сравнению с любопытством экспериментатора: что же из этого получится? Видя, что Матреша эволюционирует слишком медленно (через два дня только слегка похудела и была в жару), Ставрогин решает ускорить ход событий — на глазах у Матрешы запирается с Ниной, уже изрядно ему надоевшей, чтобы увидеть, как это отзовется на Матреше. Результат налицо: Матреша, почувствовав себя окончательно опустошенной, растоптанной и оплеванной, решила повеситься. Но за каких-то нескольких десятков минут до ее рокового шага, когда она вновь была одна со своим обольстителем, Ставрогину, по его словам, «решительно доставляло удовольствие не заговаривать с Матрешей». Момент же наивысшего удовольствия настал для него тогда, когда ему стало ясно, зачем несчастная девчонка заперлась в чулане. Он фиксировал и запоминал все мельчайшие подробности этого момента: «... жужжала муха и всё садилась мне на лицо <...> взял книгу и стал смотреть на крошечного красного паучка на листке герани и забылся. Я всё помню до последнего мгновения». И даже когда, приподнявшись на цыпочки, дабы убедиться, умерла ли Матреша, он заглядывает в щель чулана, то подчеркивает, что об этой детали (встать на цыпочки) думал еще заранее: «Вставляя здесь эту мелочь, хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими умственными способностями» (см.: 11, 16, 18, 19).

Каразин в этом плане несколько отличается от Ставрогина. Как только стал он чувствовать «непрочность побуждений к революционной работе», так им овладело, по его словам, «состояние тихого, но упрямого бунта, который вызывал во мне странную вялость мысли, чувства и настойчивую потребность испытать что-то неиспытанное». Правда, его первое преступление — убийство провокатора Попова — не было заранее обдуманым, решение это возникло внезапно, и, приняв его, он «вдруг заторопился, сам себя подхлестывая на решение неожиданное». О самом решающем моменте сказано с предельным лаконизмом: «Попов повесился на отдушнике печи. Я держал его руки, пока он дрыгал ногами и громко выпускал кишечный газ». Состояние убийцы после смерти Попова было скверное. «Но незаметно, — пишет он, — откуда-то из глубины, вдруг встал предо мной тревожный вопрос: а почему, собственно, я заставил Попова удавиться так неожиданно для самого себя и так торопливо заставил, точно чего-то испугался, но — не в нем, в — в себе? Как будто я не преступника уничтожал, а свидетеля, опасного для меня, и не тем опасного, что он предатель, а с какой-то другой стороны опасного?». Опасность такова: слушая Попова в его предсмертные часы, Каразин как бы видел в нем будущего себя. Не случайно он проговаривается: «И вообще назойливо шептались его цинич-

ные мыслишки, так странно знакомые мне, как будто я их слышал давно и часто». Однако состояние подавленности, растерянности длилось лишь до тех пор, пока Симонов не предложил ему, уже арестованному, заменить убитого. Охотно изъявив согласие, Каразин обрел полную уверенность в себе: «Хорошо помню, что меня не испугала петля, накинутая на шею мою <...> Хорошо помню, что я сам был удивлен быстротой и легкостью, с которыми это решение возникло...». Это назойливо повторяющееся «хорошо помню» — уже чисто ставрогинское. С этого момента и эксперименты у Караморы начинаются ставрогинские: он стремится узнать, до каких же пределов он способен дойти: «...я беспощадно нахлестывал себя, чтоб дойти до ответа. Я выдал охране и отправил на каторгу одного из лучших партийных товарищей, человека на редкость хорошего <...> Выдал его и ждал, что теперь в душе моей что-то взвывает. Ничего не взвыло». А несколькими строчками выше было сказано: «Людей я не чувствую, они мне не нужны». Это не совсем точно. Люди и Ставрогину, и Каразину нужны — не для того, чтобы испытать радость от единения с ними, а для экспериментов. В Ставрогине, сколько бы он ни экспериментировал, тоже «ничего не взвыло». Но если оба они были лишены чувства стыда, раскаяния, угрызания совести, то страх все-таки был им знаком и действовал на них озлобляюще. Это чувство было тем острее, что каждый из них привык чувствовать себя бесстрашным и любил опасность. Ставрогин сознается, что часто «сам искал» опасностей, любил стоять под наведенным дулом пистолета и т. п. Поведение его во время дуэли с Гагановым говорит само за себя. Каразин, точно вторя ему, заявляет: «Смел я был до нахальства и особенно любил себя в те минуты, когда жизнь моя висела на волоске».²²

Пишешь доброго — ищи, где он зол; пишешь бесстрашного — ищи, где ему страшно. Едва ли не первая заповедь реализма.

Эту задачу Достоевский и Горький решают по-разному.

Ставрогин испытал острый приступ страха вечером того самого дня, когда он растлил Матрешу. «Я никогда не чувствовал страху и, кроме этого случая в моей жизни, ни прежде, ни после ничего не боялся <...> Но в этот раз я был действительно испуган и действительно чувствовал страх, не знаю почему, в первый раз в жизни, — ощущение очень мучительное» (11, 17). Растлитель боится не уголовного наказания: он боится огласки и всеобщего осмеяния. В тот момент он этого еще не осознает, но впоследствии — прозревает. И не случайно его в дальнейшем так мучительно преследует видение Матрешы, грозящей ему своим маленьким кулачком — момент наиболее «некрасивый» во всей этой истории. Тихон быстро уловил в своем госте эту черту, он даже предупреждает его, что тот не вынесет в случае опубликования исповеди со стороны людей «их смеху». Этим же пугает его в последнее утро своей жизни и Лиза Дроздова.

²² Горький М. Полн. собр. соч., т. 17, с. 374, 385—388, 399.

Страх Каразина — совсем не то. Пережит он был во сне, еще задолго до ренегатства. На первый взгляд, он навеян чисто внешними причинами («совпадением условий», как выражается сам Каразин). По сути своей он прямо-таки контрастен ставрогинскому сну о золотом веке: «... я хожу по краю плоского круга, покрытого сводом серенького неба <...> Как тусклое зеркало, небо отражает мое уродливо изогнутое тело, лицо у меня искаженное, руки дрожат, и мое отражение протягивает ко мне эти дрожащие руки <...> В непоколебимом молчании, в совершенной безжизненности мое движение по кругу становится всё быстрее <...> Круг, сжимаясь, становится всё меньше, купол неба всё ниже, я бегу, задыхаюсь, кричу <...> Страшнее этого сна я ничего не помню».²³

Известно, какое значение имели сны в романах Достоевского. Ставрогину снится сон о золотом веке — и вдруг картина блаженства омрачается малюсенькой точкой, приобретающей затем очертания того красного паучка, который полз по листку герани, когда вешалась Матреша, а затем возникала и сама Матреша, грозящая своим маленьким кулачком. Блаженство кончалось, сон обрывался. Это был, как и у Свидригайлова, сон-наказание. У Каразина — другое. Будучи ссыльным в Уржуме, он еще не имеет на совести никаких пятен, морального наказания не заслужил. Это похоже на то, как у Раскольниковца, когда ему снится забитая насмерть лошадь, сон-пророчество, сон-предчувствие. Каразину снится воплощенная в картине куска космического пространства, сжимающегося до размеров тюремной камеры, *безысходность одиночества*, т. е. то, что неизбежно ожидает его, равнодушного к людям эгоцентрика, в будущем. «Уродливо изогнутое тело», «искаженное лицо» — эти чисто внешние атрибуты предваряют искаженную мораль циника-provокатора, уродливо изломанную судьбу. Через месяц-два после своего предательства Каразин чувствовал себя в каком-то неправдоподобном мире, и то, что «на земле существует жизнь, существует множество людей» — все это проходило как-то мимо: «случилось как-то так, что во множестве товарищей у меня не нашлось друзей». Не было их и у Ставрогина.

Как правило, подобные люди любят повелевать другими. Это вовсе не обязательно связано со стремлением к политической власти — чего нет, того нет: как ни искушал Петр Верховенский Ставрогина стать Иваном-царевичем, так ничего определенного от него и не услышал. Каразин совершенно равнодушно отнесся к предложению Симонова о переводе в столицу. Но им обоим непременно было нужно, чтобы на них смотрели снизу вверх. Ставрогин привык первенствовать среди своих собутыльников, привык, что на него с обожанием смотрят женщины — отсюда понятна та вспыхнувшая в нем дикая ненависть к Матреше, кото-

²³ Там же, с. 376.

рая его — его, Николая Ставрогина! — заставила пережить минуты смертельного страха.

Каразин терпеть не мог, когда кто-то оказывался сильнее или умнее его. Собственно, с этого и началась его революционная деятельность. О знакомстве с Леопольдом он говорит: «Обидно было: я, здоровый русский парень, а вот эдакий ничтожный чужой мальчишка оказывается умнее меня; учит, раздражает, словно соль втирает в кожу мне». А кончилось твердым убеждением, что «забота о людях исходит не из любви к ним, а из необходимости окружить себя ими, чтоб с их помощью, их силой, утвердить свою идею, свою позицию, свое честолюбие». И — уже о себе: «Что бы там ни пели разные птицы, а власть над людьми — большое удовольствие. Заставить человека делать и думать то, что тебе нужно, это <...> ценно само по себе, как выражение твоей личной силы, твоей значительности».²⁴

И у Ставрогина, и у Каразина довольно сложные отношения с религией. По словам Кириллова, «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует» (10, 469). Другими словами, нет для него абсолюта — ни в вере, ни в неверии. Достоевский, поставленный в известность о том, что глава «У Тихона» не будет напечатана, пробовал ее переделать и писал по этому поводу Н. А. Любимову в марте 1872 г.: «Клянусь Вам, я не мог оставить сущности дела. Это целый социальный тип в моем убеждении, *наш* тип, русский <...> Это человек, не верующий вере наших верующих и требующий веры полной совершенно иначе...» (П., IV, 297).

Ставрогину небезынтересна была вера Кириллова, но примкнуть к ней он не смог. Со всем пристрастием атеиста допрашивает он Шатова о его вере, а затем по совету того же Шатова отправляется к Тихону. Зачем? Размножить и опубликовать листки своей исповеди он мог бы и без него. И после ознакомления Тихона с его рукописью говорит: «Если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче» (11, 26). Но «вера наших верующих» в лице Тихона его отвергла, «вера полная совершенно иначе» — не пришла.

Атеизм Каразина, на первый взгляд, — атеизм человека, овладевшего основами научной теории: «Веруют в бога по невежеству, из страха, по привычке, из упрямства, а некоторые даже потому, что в душе отчаянно пусто и они набивают пустоту ватой религии». Так говорит Каразин верующему фанатику. Но, вспоминая об этом, он тут же считает нужным оговориться: «Говорил я не столько ему, сколько сам себя экзаменуя, просматривая мое мнение о боге, религии и всей этой лирике нищих духом».²⁵ Когда человек сам себя экзаменует, это значит, что он не очень уверен и тверд в своих убеждениях. Его иронический отзыв о «товарище Басове, специалисте по атеизму», — конечно,

²⁴ Там же, с. 368, 371, 376—377.

²⁵ Там же, с. 375.

не случайность. Ни атеист, ни верующий, Каразин упорно ищет какое-то кредо и в конце концов повторяет давным-давно до него сказанное «человек человеку — волк». Бывший революционер и бывший провокатор, а ныне подследственный заключенный, он с упоением приближается к своему открытию: «...я призван открыть ложь, я первый, кто должен открыть людям, что все они обмануты, жизнь действительно голая, зверячья борьба, и не зачем сдерживать, главное — нечем сдерживать эту борьбу». Кем обмануты люди — властями, духовенством? Ничего подобного: «...все эти „учителя жизни“, социалисты, гуманисты, моралисты — врут; никакой социальной совести нет, сознание связи между людьми — выдумка, и вообще ничего нет, кроме людей, каждый из них стремится жить за счет сил другого, и это дано навсегда».²⁶

Итак, религия самопоклонения...

Странно, что Каразин, прочитавший столько книг по философии и экономике, забыл, что социальный пессимизм — отнюдь не новость. Но, видимо, он не слишком глубоко впитал научный материализм, поскольку рассуждает в конечном счете совершенно субъективно: если во мне совесть молчит — значит и никакой социальной совести нет; если я подл — значит и вообще «у человека нет сил протестовать против подлости в самом себе».

Между созданием «Бесов» и написанием «Караморы» легло полвека. За это время Ставрогин был восторженно оценен А. Л. Волынским. Он писал, что Ставрогин «...большое психологическое явление, в то время еще совсем не обозначившееся в русской жизни и едва обозначившееся в Европе, получившее впоследствии название декадентства».²⁷ Достоевский в письме к М. Н. Каткову от 8 (20) октября 1870 г. писал: «Николай Ставрогин — тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это — лицо трагическое <...> По моему мнению, это и русское, и типическое лицо» (П., II, 288—289).

Каразин — даже и не злодей, хотя он прямой духовный и моральный потомок Ставрогина. Он скорее комическое лицо, чем трагическое. Не случайно прозвище Ставрогина Принц Гарри восходит к герою шекспировской хроники, а прозвище Карамора (крупный комар, похожий на паука) говорит само за себя. Ставрогин беспощаден к себе и во всем идет до конца — он в некотором смысле напоминает медика, ставящего опыты на самом себе. Каразин действует «в пределах» — Тасю Миронову он все-таки не решился выдать. Ставрогину свойственно «звериное сладострастие», Каразин в сексе тривиален, о чем свидетельствует его «деловая любовь» с Александрой Варвариной. Ставрогин собирается своей исповедью повергнуть человечество в изумление и не делает этого, не желая быть смешным, Каразин пробалтывается о своих психологических экспериментах Симонову за бу-

²⁶ Там же, с. 306.

²⁷ См.: Волынский А. Л. Достоевский. СПб., 1906, с. 393.

тылкой вина, и, видимо, сам не подозревает, насколько он комичен, потешая своего шефа анекдотами о революционерах, чтобы услышать в ответ:

«— А Попенко рассказывал эти шутки забавнее, чем вы».²⁸

Наконец, Ставрогин, всю жизнь распорядившийся своими поступками сам, самолично распорядился и своей смертью. Каразин задается вопросом: «Пожалуй, они оставят мне жизнь. Интересно: что я буду делать с нею?». Расставаться с ней добровольно он не намерен.

За семнадцать лет до «Караморы» Горький написал статью «Разрушение личности». Работая над ней, он намеревался ввести подзаголовок — «От Прометея до хулигана». Сопоставляя героя «Караморы» с героем «Бесов», мы видим измельчание декадентской личности от Ставрогина до Каразина.

Каразин — выродившийся и измельчавший Ставрогин.

Ставрогин же (о чем не раз писалось) не убийца-исполнитель (как Раскольников или Рогожин), а убийца-вдохновитель. Убийца чужими руками — Верховенского и Федьки-каторжного. В «Братьях Карамазовых» мы видим то же самое: здесь есть и исполнитель убийства Федора Павловича (Смердяков) и вдохновитель (Иван). Ставрогин в отличие от Петра Верховенского автору не мерзок.

Обратимся к Горькому. Первый же его рассказ «Макар Чудра» (1892) венчается убийством Радды. Мотивы его у Лойко Зобара во многом напоминают рогожинские. И это далеко не единственное у молодого Горького убийство «по Достоевскому». Вспомним финал рассказа «Хан и его сын», некоторые эпизоды из «Старухи Изергиль» (где она рассказывает о себе). И наряду с этим — Ларра, прямой наследник Раскольникова и Ставрогина.

Одновременно впитывая опыт Достоевского и отталкиваясь от его выводов и морали, Горький в 1900—1901 гг. пишет роман «Трое», в котором совершенно явственно слышна переключка с «Преступлением и наказанием» и «Бесами».²⁹ Илья Лунев, как и Раскольников, «себя убил», его убивают тоска, раздражение, отвращение ко всем окружающим, чисто раскольниковское (выше уже приводилось высказывание Ю. Юзовского по этому поводу). Автор сочувствует Илье, как сочувствует он позже и Ваське Пеплу («На дне»), и Акимову («Враги»), и некоторым убийцам в «Сказках об Италии». Но — время шло, и в 1915—1925 гг. Горький в результате своеобразного восприятия исторических событий стал испытывать к людям, убивающим себе подобных,

²⁸ Горький М. Полн. собр. соч., т. 17, с. 395.

²⁹ Характерно, что в этом романе главный герой, еще будучи совсем юным, слышит произнесенные кем-то из посетителей трактира слова: «Поневже тепл еси, а не студен еси, ниже горящ — имам ти изблевати из уст моих» — слова пророческие: «тепленькая» филистерская жизнь владельца галантерейной лавочки — не для Ильи Лунева. Трагический финал его жизни заставляет вспомнить не столько о Раскольникове, сколько о Ставрогине.

независимо от мотивов и обстоятельств отношение резко отрицательное. В рассказе «Герой», написанном во время первой мировой войны (первая публикация в журнале «Беднота», 1923) русский снайпер, уничтоживший десятки неприятельских солдат, изображен крайне самодовольным, тупым и бесчеловечным. В рассказе «Испытатели» (1923) сказано: «Обыкновенно убийца — безнадежно тупое существо, получеловек, неспособный отдать себе отчет в преступлении, или — хитренький пакостник, визгливая лисица, попавшая в капкан, или же — задерганный неудачами, отчаявшийся, озлобленный человечиска».³⁰ В этом же рассказе описан некто Меркулов — ломовой извозчик, совершивший два убийства с экспериментальной (подобно Ставрогину и Каразину) целью, как он сам выражается — «из любопытства». В итоге Меркулов, как и Ставрогин, удавился.

Если в рассказе «Палач» (напечатан одновременно с «Испытателями») Горький с сочувствием говорил о террористе Саше Никифорове, убившем начальника Нижегородского охранного отделения, то в рассказе «Убийцы», опубликованном двумя годами позже, наряду с естественным протестом против того ажиотажа, который нередко создает пресса вокруг имен убийц, заметно и другое — тенденция к стиранию граней между революционерами-террористами и убийцами-уголовниками. Вот, вспоминает автор, увидел он одного террориста. Кто-то прошептал:

«— Это он убил N-ского губернатора.

„Он“ <...> держит руки в карманах и жует мундштук погасшей папиросы. От него крепко и душно пахнет идиотом».³¹

Перед этим было несколько беспощадно злых зарисовок убийц-уголовников, после этого — еще об одном террористе, убившем провокатора (не прообраз ли Каразина, убившего Попова?), тоже с величайшей брезгливостью.

Стремясь отделить себя от паникующих обывателей, Горький оговаривается: «Разумеется, я — понимаю: политическая борьба, „тираномахия“ и так далее. Да, да. А все-таки: когда же люди перестанут и перестанут ли убивать друг друга, любоваться убийцами? Политические убийства становятся столь же часты, как и уголовные».³²

Надо полагать, что отношение к Достоевскому в середине 20-х гг. было у Горького несколько иным, чем ранее. В очерке «В. И. Ленин» (1924) читаем: «Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренне любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение».³³

³⁰ Горький М. Полн. собр. соч., т. 17, с. 138—139.

³¹ Там же, 1973, т. 18, с. 26—27.

³² Там же, с. 26.

³³ Там же, 1974, т. 20, с. 26.

Раздвоение души, любовь сквозь ненависть — это темы всего творчества Достоевского, темы — испепеляющие, и Горький устами (вернее — пером) Караморы говорит: «Вот когда я чувствую Достоевского: это был писатель, наиболее глубоко опьянявшийся сам собою, бешеной, метельной, внеразумной игрою своего воображения, — игрою многих в себе одном.

Раньше я читал его с недоверием: выдумывает, стращает людей темнотою души человека затем, чтобы люди признали необходимость бога, чтобы покорно подчинились его непостижимым затеям, неведомой воле.

„Смирись, гордый человек!“

Если это смирение и нужно было Достоевскому, то — между прочим, а не прежде всего. Прежде же всего он был сам для себя <...> Умел жечь себя, умел выжимать жгучий сок души своей весь, до последней капли».³⁴

Наличие сближающих Ставрогина и Каразина черт не означает близости авторских позиций по отношению к героям.

Достоевский видит в Ставригине несмотря на всю глубину его нравственного падения лицо крупное, трагическое. Тихон так определил суть этой трагедии: «...великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость» (11, 25). Но это лишь одна сторона, ибо в «великой праздной силе» есть и великое бесстрашие, и великая непримиримость к филистерству. Горький же не дает оснований говорить о крупных масштабах личности Каразина. Здесь отношение иное: видя в нем личность по-своему незаурядную, человека ищущего, «взыскующего града»,³⁵ как любил Горький выражаться, он смотрит на него с известной долей сожаления, не более. Оставляя ему крохи человечности (любовь к Тасе Мироновой, спасение некоторых своих бывших сотоварищей), автор «Караморы» лишает его права на трагедию, выводя на суд читателей обнаженным.

И все-таки, сопоставляя разделенные полувеком исповеди Каразина и Ставрогина, мы вправе сделать вывод, что от путей, проложенных Достоевским, не остался в стороне и рассказ «Карамора». Его уже упоминали в связи с Достоевским Б. А. Бялик, Г. М. Атанов и М. Я. Ермакова.³⁶ Хотя сам Горький в письмах к В. Я. Зазубрину, А. К. Воронскому (Анисимову) отрицал влияние Достоевского на «Карамору».

Разумеется, работая над этим рассказом, Горький отнюдь не ставил себе целью развить или повторить какие-либо мысли Достоевского. Но на протяжении всей своей писательской деятельности борясь с «достоевщиной», Горький постоянно чувствовал

³⁴ Там же, т. 17, с. 386.

³⁵ Отсюда — упреки А. К. Воронского в «двойственном» отношении автора к провокатору.

³⁶ Ср.: Творчество Достоевского. М., 1959, с. 87; Атанов Г. М. Роман-эпопея «Жизнь Клим Самгина» и его истоки в творчестве М. Горького. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1971, с. 14—15.

незримое присутствие в жизни Достоевского, великого национального писателя. Под свежим впечатлением главы «У Тихона», то в споре с автором «Бесов», то в единомыслии с ним, основоположник социалистического реализма написал рассказ, сильнейший по своему проникновению в сознание «декадента» — рассказ, который, не будь в постоянном мироощущении автора героев Достоевского вообще и Ставрогина в частности, — был бы, думается, качественно иным или вообще не был бы написан.

Вот почему сопоставление текста «Караморы» с «Бесами» и особенно главой «У Тихона» проливает, как можно полагать, дополнительный свет на изучение вопроса о воздействии художественного мира Достоевского на Горького-художника.